

Съезд. «Вся власть советам!»

Любопытный вопрос: почему в минуты своих побед махновцы приглашали большевиков «во власть», а большевики махновцев – нет? На фронтах их, конечно, оставляли командирами, но чтобы пригласить в ревком? Не припомню такого случая. Ну, если не считать Екатеринослава 1918 года, когда у большевиков просто было так мало сил, что, не поделившись властью, они просто не взяли бы город. Ответ – в самом общем виде – в том, что махновцы воплощают собою стихию революции, большевики же, начиная с 1918 года, – порядок и диктат, противостоящий стихийному порыву народа и неизбежно враждебный ему. Позже это подметил С. А. Аскольдов в статье «Религиозный смысл русской революции», написанной для задуманного П. Б. Струве сборника «Из глубины», подготовленного к изданию в середине 1918 года, но увидевшего свет лишь в 1967 году во Франции. Он замечает, в частности, что, будучи порождением «красного коня» (согласно символике Апокалипсиса), анархия («черный конь») против него же и обратит свое оружие. У стихии и у диктатуры – разные правды и разные ужасы. Стихия бурна, переполняема какою-то неведомой силой, почти бесформенна, почти неуправляема. Но в ней еще живут порыв, чувственность, вера в справедливость и в лучшее будущее, в устройство жизни по правде. Она настолько наивна, что верит в правду. Она всеохватна: какого-нибудь большевичка, который затесался в ряды повстанчества, она запросто принимает за своего. Ее жестокость спонтанна и простодушна, в отличие от доктринерской, механической жестокости диктатуры.

Революционная диктатура в каком-то смысле является одновременно и концом революции: общество, организованное на принципах порядка, жестокой субординации и тотального подавления инакомыслящих, уже не хочет знать того избытка чувств, сил, энергии творчества и надежды, с которого начиналась революция. Ясно поэтому, что всякий «независимый революционер» и попросту нетвердый большевик будет немедленно исторгнут «из диктатуры», потому что будет ей только мешать.

Читателю может показаться, что я противоречу самому себе, высказываясь в защиту революции. Но без противоречий не получается. И тем лучше. Противоречивость происходящего была ясна уже в 1918 году. Тот же С. А. Аскольдов писал: «По замыслу своему революция есть все же стремление, утверждающее жизнь, а именно попытка произвести некую жизненную метаморфозу, хотя и вопреки законам органического развития» (3, 216). Мы ничего не поймем в революции, не признав своей правды за революционерами или попытавшись объяснить случившееся только кознями заговорщиков, обуреваемых тщеславием политических эмигрантов и «каторжных горилл» (по злобному выражению И. Бунина). Революция потому и сделалась революцией, что всколыхнула миллионы людей, стала поиском новых смыслов, новых опор взамен ржавых скреп,

державших Российскую империю. Поэтому она и победила! Революцию начали не большевики и вообще не партии – партии лишь с разной степенью успеха пытались направить и использовать в своих целях вырвавшуюся из глубин народа энергию протеста против бытовой и социальной неправды, крайними проявлениями которой стали война, связанный с нею произвол, коррупция и распутинщина.

Известно, что коэффициент полезного действия революций очень низок. «Затраты» всегда гигантски превышают тот разумный минимум сил, который нужно было бы приложить для достижения тех же социальных и экономических результатов в ходе, скажем, реформистской деятельности. Но тут первый парадокс: без детонатора революционного «взрыва» реформы иногда так и не могут начаться. Второй же парадокс заключается в том, что дело, возможно, вообще не в экономике: экономический результат захвата помещичьих земель крестьянами был откровенно ничтожным, если не отрицательным. Значит, срабатывает более психологический фактор, некое неясное ощущение, что так, как прежде, дальше жить нельзя, которое оказывается сильнее всяких резонов, доводов разума и даже страхов. Большевикам удалось это неясное ощущение, несущее в себе огромную потенциальную энергию, направить на разрушение, на гражданскую войну, на разнуздание самых дрянных привычек народа, что было необходимо для установления монополярной диктатуры. Возможно, дело не в большевиках. Возможно, правы авторы сборника «Из глубины», и революция, в принципе, несет в себе неизбежность диктатуры, необходимой для обуздания разбухших ею же стихийных сил. Но от этого процесс превращения бунта в диктатуру не становится менее драматическим, а крах многих революционных надежд – менее болезненным.

Может быть, наиболее болезненным было крушение идеи народовластия, вдохновлявшей несколько поколений русских революционеров. Советы не были партийным изобретением, хотя в своих партийных мифологиях их приписывали себе то большевики, то эсеры. И в 1905-м, и в 1917-м Советы покрыли страну стихийно, и все левые социалисты приняли их как давно чаемую форму народного самоуправления, способного заменить опостылевшую власть царского чиновничества. Сбылось! Во время летней передышки 1917 года, вызванной боязнью ареста, Ленин написал даже специально посвященную Советам книгу «Государство и революция», в которой предрекал «растворение» государства в народном самоуправлении и запечатлел знаменитый образ кухарки, управляющей государством. С легкой руки Ленина в России стали считать, что Советы – лучше, «народнее» любой формы демократии, выработанной на западе (включая Швейцарию с ее уникальным самоуправлением). Тем более казалось невероятным, что партия большевиков, пришедшая к власти под лозунгом «Вся власть Советам!», уже весной 1918-го станет эти органы народной власти разгонять силой штыка, обнаруживая в них народных избранников, не согласных с ее линией. После июльского разгрома партии левых эсеров – главных оппонентов большевиков внутри Советов – «большевизация Советов» уже не знала преград и привела к повсеместной замене народной власти властью партийных комитетов, чрезвычайек или, как это было в деревнях, властью «комитетов бедноты», наделенных диктаторскими правами в отношении односельчан.

В знаменитом письме в ЦК большевиков, написанном со всей страстью революционерки, уличающей отступников в предательстве, Мария Спиридонова, лидер разгромленной партии

левых эсеров, в ноябре 1918 года писала: «...Несмотря на все трудности жизни, масса, понимая окружающие опасности, умеет терпеть свои неслыханные тяготы. Но она революционна, она осознала свои права, она хочет самоуправления, она хочет власти Советов. Лозунги „кулацких восстаний“ (как вы их называете) не вандейские. Они революционны, социалистичны. Как смеете вы кроваво подавлять эти восстания, вместо законных удовлетворений требований трудящихся? Вы убиваете крестьян и рабочих за их требования перевыборов Советов, за их защиту себя от ужасающего, небывалого при царях произвола ваших застенков-чрезвычайек, за защиту себя от большевиков-назначенцев, от обид и насилий реквизиционных отрядов, за всякое проявление справедливого революционного недовольства... По смыслу нашей революции выходит, что если на тебя нападает кто бы то ни было и берет тебя за горло, то, если ты не овца и не слякоть, – защищайся – защищай свою жизнь и свободу, жизнь и свободу своих товарищей... (72, 63). И не вина масс, что их требования сходны с нашими лозунгами. Все то, чему мы учили народ десятки лет и чему он кровавым опытом, кажется, научился – не быть рабом и защищать себя, вы как будто хотите искоренить из его души истязаниями и расстрелами (72, 52).

...Поистине, у нас началось новое рождение человечества, в силе и свободе. И трудящиеся будут и хотят терпеть все муки брюха, отстаивая правду, доживая до ее засияния. Перед нами открылись беспредельные возможности, свет которых не могли обтускнуть ни вспышки красного террора, исходящие от самих трудящихся, ни темные стороны их погромных проявлений.[13] И, конечно, в этот пафос освобождения, в этот энтузиазм революционной эпохи нельзя было вносить ваш догматизм, диктаторский централизм, недоверие к творчеству масс, фанатичную узкую партийность, самодовольное отмежевание от самого мозга страны, нельзя было вносить вместо любви и уважения к массам только демагогию и, главное, нельзя было вносить в это великое и граничащее с чудом движение психологию эмигрантов, а не творцов нового мира (72, 60).

...Что, что сделали вы с нашей великой революцией, освященной такими невероятными страданиями трудящихся?!!

Я спрашиваю вас, я спрашиваю...» (72, 59).

Вне сомнения, это письмо, опубликованное левыми эсерами в начале 1919 года, – один из самых страстных, самых красноречивых памфлетов того времени. Это полное адской боли послание блаженного от революции инквизиторам от революции. И что толку, что вера у них одна – социализм, – если под этим подразумевают они разное? Спиридонова – прежде всего освобождение Человеческой Личности (и то, и другое слово в ее письме с большой буквы), ее оппоненты – прежде всего завоевание политической власти (во имя той же якобы личности, только с маленькой буквы, с маленькой...).

Тем из левых эсеров, кто не оказался крепко повязан с партией большевиков и сумел преодолеть «узость» народничества, суждено было многое понять после стремительного низвержения партии с высот власти, которую она разделила с большевиками в декабре 1917 года. Понять такое, чего торжествующие большевики понять тогда уже не хотели, а потом не могли. В этом смысле наиболее показательна упоминавшаяся уже книжка левоэсеровского наркома юстиции И. З. Штейнберга, подвергающая беспощадной этической

реvisions весь опыт Октября, книга потрясающая и по фактуре, собранной задолго до разоблачительных публикаций нашего времени, и по глубине сомнений, мучающих автора. Вслед за П. А. Кропоткиным левоэсеровский лидер приходит к несколько необычному для революционера выводу – что подлинно революционными являются только те процессы, которые ведут к духовному преображению личности. Источник, цель и средства борьбы за социализм заключаются именно в личности. Большевизм – социализм глухих, безумных, одержимых волей к власти, которым неведома трагедия революции, антиномия средств и цели, путей и идеала.

Из всех более или менее известных русских революционеров путь от нигилизма до веры, от альтруизма до христианской любви, от бунта до преображения прошел лишь один – член Исполнительного комитета «Народной воли» Лев Тихомиров, начинавший еще в начале 70-х годов XIX века вместе с Кропоткиным в кружке «чайковцев», ставшим отправной точкой целого ряда движений в русской революции (из «чайковцев» вышло несколько ярких народников и первостепенных фигур «Народной воли»; из «чайковцев» был сам Николай Чайковский, социалист весьма умеренного народнического толка, друг Кропоткина по эмиграции, в 1918 году отколовшийся от революции и возглавивший белое правительство в Архангельске). Исаак Штейнберг не дошел, как Лев Тихомиров, до веры, но дошел до покаяния, до исповеди. Мария Спиридонова не дошла и до покаяния, ее единственной верой был и остался социализм – но именно это давало ей силы обличать большевиков. Лишь много позже она смирилась, все приняла и, отказавшись от политики, оставила себе тихую радость труда «во благо народа» – малую схиму революционного подвижничества (что не спасло ее от тюрьмы и чекистской пули в затылок).

Но в 1918-м авторитет Спиридоновой был еще необыкновенно высок. Когда 6 июля, в день убийства левыми эсерами графа Мирбаха, Спиридонову арестовали, заточив затем, несмотря на кровохарканье, в холодных комнатах Чугунного коридора Кремля, чекисты, приставленные к ней, помогли ей бежать, ибо не могли смириться с ее арестом. Письмо ее в ЦК большевиков, написанное в ожидании суда (когда левоэсеровская фракция ВЦИКа была распущена, газеты партии закрыты и всякая легальная оппозиция перестала фактически существовать), должно было произвести огромное впечатление на всех революционеров, вдохновляемых идеей народовластия и свободы, на всех, кто не хотел мириться с безраздельным всевластием партии коммунистов.

Был ли известен текст этого письма Махно? Мы не знаем, но вероятность этого велика. Письмо должно было ходить и широко обсуждаться в анархистских и левоэсеровских кругах. Кроме того, в начале 1919 года, когда Махно был еще красным комбригом, к нему пробрался Дмитрий Попов – заочно приговоренный Ревтрибуналом к расстрелу командир спецотряда ВЧК, штаб которого стал очагом сопротивления левых эсеров 6 и 7 июля 1918 года в Москве.

Попов был обычный выдвиженец революции, матросик, поднявшийся в командиры на мутноватой волне надвигающегося террора. Если глядеть непредвзято, то вполне зловещим покажется тот факт, что, как и большинство оберегающих кремлевскую власть частей, его отряд больше чем наполовину состоял из инородцев-«интернационалистов», которые, плохо разбираясь в обстановке и не зная даже русского языка, становились слепыми орудиями

власти в наиболее сомнительных ее предприятиях. У Попова в отряде были финны, которым по иронии судьбы 7 июля пришлось сразиться на московских улицах с латышами Вацетиса, едва ли лучше финнов понимавшими, в чем, собственно, они принимают участие и в чем смысл разыгравшегося в городе сражения. В свое время Попову, как командиру отряда, на Красной площади вручал красное знамя Троцкий. Вряд ли, пожимая Попову руку, Троцкий думал, что этот матросик с симпатичненьким, но заурядным лицом окажется в числе его врагов. Троцкий свято верил в свое обаяние. Но тут он ошибся: человек «массы» действительно попал под влияние вождя, но не Троцкого, а Спиридоновой. И когда 6 июля Спиридонову, отправившуюся на V Всероссийский съезд Советов, чтобы сделать заявление об убийстве Мирбаха, арестовали в здании Большого театра, Попов не выдержал: «За Марию снесу пол-Кремля, пол-Лубянки, полтеатра...» С возмущения Попова, можно сказать, и началось то, из чего большевики слепили потом дело о «мятеже» левых эсеров. У нас нет ни времени, ни места для подробного объяснения того, что именно произошло 6 июля и позже, тем более что это прекрасно сделано другим автором.[14] Скажем лишь, что после подавления «мятежа» Попову, заочно приговоренному к смерти, 7 июля чудом удалось скрыться, и он, в конце концов, всплыл у Махно, как и многие другие, недовольные ходом революции бунтовщики. Кроме Попова, о письме Спиридоновой могли рассказать Махно Аршинов или даже Волин, который хорошо знал Спиридонову и относился к ней хоть и не без иронии, быть может, но с глубокой симпатией. Если это так, письмо должно было произвести на Махно сильнейшее впечатление: «...Если ты не овца и не слякоть – защищайся...»

Но самое сильное место письма, без которого послание Марии Спиридоновой большевикам выглядело бы частной политической истерикой, – это свидетельства крестьян о большевистской политике на местах, рассказы о безымянных сражениях безымянной войны, в которой очень скоро Махно предстояло стать одним из основных участников.

Вот приезд продотряда в деревню: «По приближении отряда большевиков надевали все рубашки и даже женские кофты на себя, дабы предотвратить боль на теле, но красноармейцы так наловчились, что сразу две рубашки внизывались в тело мужика-труженика. Отмачивали потом в бане или просто в пруду, некоторые по несколько недель не ложились на спину. Взяли у нас все дочиста, у баб всю одежду и холсты, у мужиков – пиджаки, часы и обувь, а про хлеб нечего и говорить...»

А вот – визит агитаторов: «Ставили нас рядом, дорогая учительница, целую одну треть волости шеренгой и в присутствии других двух третей лупили кулаками справа налево, а лишь кто делал попытку улизнуть, того принимали в плети...»

Третье письмо уже кровью убийства окрашено, но еще сдерживается гнев великим крестьянским терпением: «В комитеты бедноты приказали набирать из большевиков, а у нас все большевики вышли все негодящиеся из солдат, отбившиеся, прямо скажем, хуже дерьма. Мы их выгнали. То-то слез было, когда они из уезда Красную Армию себе в подмогу вызвали. Кулаки-то откупились, а крестьянам все спины исполосовали и много увезено, в 4-х селах 2–3 человека убито, мужики там взяли большевиков в вилы, их за это постреляли...»

А уж дальше – хватит, мочи нет, сам тон писем меняется: «Прошел слух в уезде, что ты нас обманываешь, сталкиваешься (столковываешься) опять с большевиками, а они тебя за это выпускают. Нет, уж теперь не заманишь к ним. У нас в уезде их как ветром выдуло, убивать будем, сколько они у нас народу замучили...»

Это уже – настроение махновщины 1920 года: еще не доспела до него Украина.

«Взяли нас и били, одного никак не могли усмирить, убили его, а он был без ума...»

«Деревня Телятово: стреляли по ребятишкам, бегущим в лес. Всего не перепишешь. Реквизиционный отряд большевиков при кулачной расправе: если лицо шибко раскровянится, то любезно просят выпить, потом бьют опять...»

«В комитеты бедноты идут кулаки и самое хулиганье. Катаются на наших лошадях, приказывают по очереди в каждой избе готовить обед, отбирают деньги, делят меж собой и только маленький процент отправляют в Казань...»

Письмо Спиридоновой вроде бы прямого отношения к истории махновского движения не имеет. Но я нарочно умножаю примеры – они редки, очень трудно понять, очень трудно почувствовать, что реально стояло за провозглашенной политикой комбедов и хлебных реквизиций. Как канцелярские термины эти слова нейтральны. Их реальный смысл: глумление и издевательство над слабыми, вплоть до убийства, позабылся. Но я хочу, чтобы читатель знал его и помнил: когда в 1920 году Махно возникнет из небытия уже как бандит, случится это потому, что творившееся в России уже в 1918-м пришло и на Украину.

«Мы не прятали хлеб, мы, как приказали по декрету, себе оставили 9 пудов в год на человека. Прислали декрет оставить 7 пудов, два пуда отдать. Отдали. Пришли большевики с отрядами, разорили вконец. Поднялись мы. Плохо в Юхновском уезде, побиты артиллерией. Горят села. Сравняли дома с землей. Мы все отдавали, хотели по-хорошему...»

«Идет уездный съезд. Председатель, большевик, предлагает резолюцию. Крестьянин просит слова. „Зачем?“ – „Не согласен я“. – „С чем не согласен?“ – „А вот, говоришь, комитетам бедноты вся власть, не согласен: вся власть Советам, а резолюция твоя неправильная, нельзя ее голосовать“. – „Как... Да ведь это правительственной партии“. – „Что ж, что правительственной“. Председатель достает револьвер, убивает крестьянина наповал и заседание продолжается. Голосование было единогласное...»

«У нас зарегистрирована порка крестьян в нескольких губерниях, и количество расстрелов, убийств на свету, на сходах, и в ночной тиши, без суда, в застенках, за „контрреволюционные“ выступления, за „кулацкие“ восстания, при которых села, до 15 тысяч человек, сплошь встают стеной, учесть невозможно. Приблизительные цифры перешли давно суммы жертв усмирений 1905–1906 гг.» (72, 49–51).

Было бы просто неискренне воскликнуть, что от этих злодеяний кровь стынет в жилах. После всего, что мы узнали и узнаем о нашей истории, кровь почему-то не застывает. Скорее, она как-то безвольно разжижается, ибо разнузданность зла и произвол проникли в повседневность нашей жизни, и уже несколько поколений граждан России фаталистически

воспринимает это как неизбежность. Другие склонны видеть причину зла в особой породе людей, имя которым – большевики. Но это самообман. Рядовые исполнители декретов кремлевской власти не были какими-то особенными злодеями и садистами, явившимися, чтобы мучить свой народ. Но те, кто придумывал декреты, дали слугам своим санкцию на произвол – и получили и злодеев, и садистов. Тут поистине удивительно, как удивительно это в истории Французской революции, фашистской Германии или полпотовской Камбоджи, насколько быстро дозволенность зла претворяется в реальное зло, которое целиком завладевает людьми. Насколько быстро душа человека, освободившись от скреп культуры, теряет образ и превращается во что-то бесформенное, подчиненное самым низменным страстям. Отсюда – такое упоение злом в сталинских и фашистских палачах, его патологическая извращенность, разнузданность, поистине дьявольская невероятность зла в человеке...

Интеллигентка пишет Спиридоновой: «Грабили, пороли, насильничали, отбирали все. Всегда вооруженные, пьяные, с пулеметами. При мне грабили баб, наведя на них пулеметы, на станции... Лапали их... Один товарищ и я вмешались, нас чуть не расстреляли. Комиссара станции чуть не избили, погрозив бумажкой, которая, как они кричали, дает им право „все что угодно делать“. Бумажка была подписана Цюрупой и еще кем-то, чуть ли не самим Лениным... Характерно, что они при всех этих безобразиях нечленораздельно ревели: „Что!!! Контрреволюцию завели... нет, шалишь... мы всех вас, кулаков... во-о как, к стенке... и готово...“» (72, 50).

Здесь все значимо, все символично: пьянство, лапанье баб, пугание пулеметами, бумажка, подписанная наркомом продовольствия Цюрупой... Говорят, сам Цюрупа был настолько щепетилен, что недоедал, стыдясь своего привилегированного положения в голодной Москве. Но, увы, политик отвечает не только за свой суточный рацион, но и за последствия принятых им государственных решений. А последствия...

Читая письмо Спиридоновой или книгу Штейнберга, пытаюсь быть беспристрастным, как подобает историку, и даже временами достигая этого состояния, неумолимо наливаешься холодной уверенностью, что вышеописанные беззакония и насилия – только один шаг истории, только один мах маятника. Должен быть и другой: возмездие. Такое же слепое и беспощадное, как причиненное зло. И возмездие это, как легко понять, должно было прийти не со стороны Деникина или Колчака, а со стороны самого униженного и изнасилованного народа. Не могло не прийти: слишком вопиюща была неправда:

«В Ветлужском и Варнавском уезде (Костромской) губернии бывало так, что начальство, приехав по делу в деревню, целиком ставило сход на колени, чтобы крестьяне чувствовали почтение к „советской власти“...» (86, 58).

«В Котельничках, например, убили только за левоэсерство... Махнева и Мисуно... Мы гордились ими. Они были настоящими детьми теперешней народной революции, выпрямлялись и работали так, что о Мисуно по всему краю, где он являлся, ходили легенды... Мисуно дорого поплатился перед смертной казнью за свой отказ... рыть себе своими руками могилу. Махнев согласился рыть себе могилу при условии, что ему дадут говорить перед смертью... Его последние слова были: „Да здравствует мировая

социалистическая революция...» (72, 60-61).

«В Калужской губ., в Медынском уезде расстреляно 170 чел. (были невероятные реквизиции хлеба и скота в голодной губернии). Расстреляны 4 учительницы, которые кричали, умирая под пулями: да здравствует чистота Советской власти!» (86, 61).

Чистота советской власти, самоуправление и свобода! Лозунг «Вся власть Советам» в России стал все громче звучать с осени 1918 года, только теперь он означал совсем не то, что в 1917-м, когда за этим лозунгом, как за щитом, шла к власти партия Ленина. Окончательную формулировку дал Кронштадт: «За Советы без коммунистов». На Украине григорьевское восстание стало первой, еще неосознанной реакцией насилия на насилие. Осознанной реакцией стало махновское движение за «вольные советы». И хотя Махно, вероятно, так и войдет в историю, как гениальный партизан и неуловимый мститель, нам нельзя обойти молчанием предпринятую махновцами задолго до Кронштадта одну из самых значительных в истории революции попыток освободить советы от партийных оков и вернуть им достоинство народных самоуправлений.

Возможно, что борьба за «вольные советы» стала наиболее важной главой анархического движения в революции. Во всяком случае, в партизанском районе Махно и в Кронштадте анархистам принадлежала ведущая роль. Именно они смогли вдохнуть революционный дух в изверившийся и отчаявшийся народ. И представители других социалистических партий, прежде свысока подсмеивающиеся над ними за их «фантазерство» и кружковщину, теперь вынуждены были считаться с ними и признавать их моральный авторитет, не так сильно, как у левых эсеров, запятнанный соглашательством с большевиками, и не так сильно, как у меньшевиков, скомпрометированный сотрудничеством с буржуазией...

Сразу после взятия Александровска Реввоенсовет Повстанческой армии разъяснял в одной из листовок: «Ваш город занят революционной повстанческой армией махновцев. Эта армия не служит никакой политической партии, никакой власти, никакой диктатуре. Напротив, она стремится освободить район от всякой политической власти, от всякой диктатуры. Ее задача – охранять свободу действий, свободную жизнь трудящихся от всякого неравенства и эксплуатации» (95, 598).

Началась подготовка к чрезвычайному районному съезду Советов, на котором Махно и Волин собирались изложить делегатам концепцию «вольного советского строя», надеясь, что, как и во времена гуляйпольских съездов, она будет одобрена. Это означало бы, что будет сформулирована некая политическая альтернатива как «белой» идее, так и советской власти большевиков. Дело, однако, столкнулось с трудностями. Во-первых, опомнившись от первого шока, начали сопротивляться меньшевики и эсеры, которые всегда видели в махновцах только деревенский сброд и не собирались уступать им сферы своего политического влияния. Дело касалось прежде всего профсоюзов, в которые махновцы, образно говоря, «вхожи» не были. Попытка созвать рабочую конференцию в первый раз закончилась для них полным провалом. Идея «самоуправления» рабочими не была принята. Аршинов оговаривается по этому поводу, что рабочие не были против, но с делом медлили, «смущенные его новизною» (2, 145).

Суть вопроса прекрасно проясняет визит к Махно рабочих железной дороги, которые пришли с просьбой выплатить им зарплату, задержанную при белых. Махно ответил, что зарплата рабочих – не дело командующего армией. В своем ответе железнодорожникам, опубликованном в газете «Путь к свободе» 15 октября, он популярно сформулировал принципы нового экономического жизнеустройства: «Исходя из принципа устройства свободной жизни самими рабочими и крестьянскими организациями и их объединениями, – предлагаю тт. железнодорожным рабочим и служащим энергично сорганизоваться и наладить самим движение, устанавливая для вознаграждения за свой труд достаточную плату с пассажиров и грузов, кроме военных, организуя свою кассу на товарищеских справедливых началах...» (40, 103). На этой платформе построил свой социализм в Югославии Иосип Броз Тито. Разумеется, сталинским режимом он воспринимался, как прямое кощунство: как же, сохраняются товарно-денежные отношения, конкуренция, сами рабочие владеют своими предприятиями и решают, что и как им производить. Но где же тогда роль партии – то, на чем держались вся советская политика, экономика и индивидуальная мысль каждого гражданина СССР? Нет, махновские экономические озарения большевиков вдохновить не могли.

Новизна же вопроса, смущавшая рабочих, заключалась в том, что железные дороги в России отроду были государственными, и в том, что в условиях разгромленного рынка и расчлененной страны хозрасчет едва ли был возможен, по крайней мере для таких отраслей, как металлургия и транспорт. На пике Гражданской войны анархистский лозунг «освобождение рабочих – дело рук самих рабочих» зазвучал пародийно: это уловили Ильф и Петров в своей издевательской перефразировке о спасении утопающих. Однако железнодорожникам, по-видимому, действительно ничего не оставалось делать, как спасать себя и наладить-таки движение поездов, чтобы кормить себя и свои семьи. Вполне хозрасчет устраивал только рабочих, занятых в отраслях легкой промышленности: пищевиков, обувщиков, портных. У них профсоюзная жизнь, задавленная при денкинцах, оживилась. Рабочие табачной фабрики Джигита потребовали от владельца заключения коллективного договора. Тот без промедления согласился. Все это каким-то образом повлияло и на настроение в городе. Во всяком случае, собранная 20 октября вторая рабочая конференция согласилась направить на предстоящий съезд своих депутатов и делегировала в Реввоенсовет Повстанческой армии портного Семена Новицкого и большевика Максимова.

В тот же день Реввоенсовет махновцев выпустил декларацию: «Развертывающееся ныне народное повстанческое движение на Украине (махновщина) является началом великой третьей революции, стремящейся к окончательному раскрепощению трудящихся масс от всякого гнета и власти капитала, как частного, так и государственного... Решительное столкновение между идеей вольной, безвластной организации и идеей государственной власти – монархической ли, коммунистической или буржуазно-демократической – становится, таким образом, неизбежным» (85,36). Концепция «третьей революции», или «второго Октября», приписывается обычно теоретикам «Набата». Все это не совсем так: «третья революция» была бродячим образом, будоражившим воображение революционеров левоэсеровского и анархистского толка начиная с середины 1918 года. Показательно, что 7 июля, в день вооруженного столкновения левых эсеров с большевиками в Москве, член левоэсеровского ЦК Донат Черепанов, нервно улыбаясь, сказал арестованному

председателю Моссовета П. Г. Смидовичу: «Что, разве не похоже на октябрьские дни?» Черепанов после разгрома партии левых эсеров оказался связанным с «анархистами подполья», которые возврат к принципам Октября и новую мировую революцию в своей фанатической декларации возвели в ранг программных требований. Среди «анархистов подполья» было два бывших махновца и несколько человек, непосредственно связанных с «Набатом». История вся прошита сквозными нитями. Через две недели после декларации Реввоенсовета Повстанческой армии организация «анархистов подполья» в Москве была провалена ЧК. Отныне все надежды наиболее ярых анархистов были на Махно.

Махно не хотел повторять ошибок зимы 1918 года, когда после взятия Екатеринослава он был вовлечен левыми эсерами и большевиками в дележ власти. Как командующий армией, он мог пресечь любые попытки захватить власть от имени народа. Известно, что по крайней мере один раз он сделал это. Когда к нему пришли большевики из подпольного ревкома и предложили разделить сферы влияния, Махно «посоветовал им идти и заниматься честным трудом и пригрозил казнить весь ревком, если он проявит какие-нибудь властнические меры в отношении трудящихся» (2, 151). Позднее он вообще запретил создавать ревкомы (временные чрезвычайные органы советской власти – так раскрывает это понятие энциклопедия), определив их как «якобинские организации». Думаю, что Махно был ближе к истине, чем авторы энциклопедии: «временные чрезвычайные органы советской власти» не могли быть не чем иным, как властью заговорщиков, и уже поэтому не имели к идее народного самоуправления ни малейшего касательства. Махно не избавился от подполья: оно точило его армию денно и ночью, готовя ее раскол и переход наиболее боеспособных частей к красным. Но это – отдельная, полная трагизма история, которую нам еще предстоит рассказать. В конце октября противостояние еще не было явным: похоже, что и Махно, и Волину, которому приходилось иметь дело с революционерами самых разных исповеданий, действительно казалось, что, увидев съезд, почувствовав живое дыхание народной жизни, творческий порыв народа, их политические оппоненты, по крайней мере большевики и левые эсеры, признают правоту анархического учения и станут, наконец, работать с махновцами рука об руку.

Как о большой победе анархистов Волин, например, пишет о том, что при подготовке съезда «вольных советов» всякая предвыборная агитация была запрещена. Его радость не всем понятна: избирательная кампания – традиционный инструмент демократии, и отмена ее означает нарушение демократических свобод. Но Волин – анархист, и для него все выглядит совершенно иначе: избирательная кампания – способ манипулировать народом, подсунуть ему партийных выдвиженцев вместо тех, кого народ действительно хотел бы выбрать. Зачем тогда она нужна? Все волости, все уезды оповещены о том, что съезд состоится. Пусть сами разберут, кого послать. Если это будут беспартийные крестьяне – прекрасно; если большевики и эсеры – тоже хорошо, потому что это будут, по крайней мере, те большевики и эсеры, которые пользуются реальным доверием крестьян, а не ставленники подпольного ревкома.

Съезд показал, что влияние партийных идеологий на крестьян крайне невелико. Потому естественно, что ни в советской исторической литературе, ни в меньшевистско-эсеровской мемуаристике он не удостоен иных оценок, кроме пренебрежительных или ругательных. Между тем это был интереснейший социологический и психологический эксперимент,

который к тому же дал в целом положительные результаты. Нам не лишне немного рассказать о нем.

Незадолго до открытия съезда к Волину в номер гостиницы зашел товарищ Лубим от левых эсеров. Несмотря на поздний час, он был очень возбужден:

- Извините меня за эмоции, но я должен предупредить вас о страшной опасности. Вы в ней себе не отдаете отчета. А между тем нельзя терять ни минуты...

Волин поинтересовался, в чем дело.

- Вы созываете съезд рабочих и крестьян. Он будет иметь огромное значение. Но что вы делаете? Ни объяснения, ни пропаганды, ни списка кандидатов! А что будет, если крестьянство направит к вам реакционных депутатов, которые потребуют созвать Учредительное собрание? Что вы будете делать, если контрреволюционеры провалят ваш съезд?

Волин почувствовал ответственность момента:

- Если сегодня, в разгар революции, после всего, что произошло, крестьяне направят на съезд контрреволюционеров и монархистов, тогда - слышите - дело всей моей жизни было сплошной ошибкой. И мне ничего не останется, как вышибить себе мозги из револьвера, который вы видите на столе!

- Я серьезно... - начал было Лубим.

- И я серьезно, - закончил Волин. - Мы поступим так, как решили. Если съезд будет контрреволюционным, я покончу с собой. И потом - не я созывал съезд. Это дело всех наших товарищей. И я не хочу ничего менять, потому что согласен с ними... (95, 606-607).

Сегодня трудно понять, почему резолюция в поддержку Учредительного собрания вынудила бы Волина покончить с собой. Острота проблем стерлась, прежние разногласия не кажутся нам столь существенными. Но Волин оказался прав в другом - Учредительное собрание не было съездом, кажется, даже вспомнано. Съезд открылся 27 октября.

Председательствовавший Волин объяснил делегатам, что Реввоенсовет Повстанческой армии взял на себя ответственность созыва этого съезда и выступает гарантом его безопасности. Он объяснил, что махновцы - не власть, а только военный отряд, защищающий интересы народа и те органы власти, которые будут избраны на съезде. Изложив предполагаемую повестку дня, он сделал несколько неожиданное заявление, сказав, что председателя на съезде не будет и что вот с этой минуты собравшиеся вольны поступать и решать все так, как им заблагорассудится. «Если товарищи не против, - добавил он, - то я возьму на себя функции секретаря...»

Поначалу депутаты настороженно отмалчивались. За два года войны у них выработалось неопровержимо скептическое отношение к любым нововведениям и обещаниям. Их молчание по-своему истолковали приглашенные на съезд меньшевики и эсеры:

– Товарищи делегаты, мы, социалисты, должны предупредить вас, что здесь разыгрывается гнусная комедия. Вам ничего не навязывают... Но вам вполне квалифицированно подсунули председателя-анархиста и вы продолжаете руководствоваться мнением этих людей! (95, 611).

Вышла склока. Махно, не стерпев такой черной неблагодарности, как был, в гимнастерке и в портупее, выбежал на трибуну и, облаяв эсеров и меньшевиков, назвал их «ублюдками буржуазии», посоветовав работе съезда не мешать, а лучше убраться на все четыре стороны... Махно был оратор не слабый, но, скорее, предназначенный для митингования на майдане или перед строем бойцов, так что можно представить себе, в каких выражениях он разделал противников.

Меньшевики и эсеры продемонстрировали обычный прием малодушной оппозиции и покинули съезд. С ними ушло несколько представителей рабочей делегации, в которой из 17 человек 15 были меньшевиками.

Инициативу попытались перехватить левые эсеры, потребовав все же избрать председателя съезда, чем спровоцировали совершенно неожиданную реакцию «депутатов»:

– Хватит нам начальников! Везде эти головы! Хоть раз без них поработаем спокойно! Товарищ Волин нам сказал, что технические вопросы уладит – и довольно... (95, 611).

Если доверять свидетельству Волина, съезд в дальнейшем проходил в «исключительной» атмосфере. И не только в смысле работоспособности, но и в смысле общего настроения. Крестьянские делегаты, среди которых были и старики, признавались Волину, что это был первый съезд, на котором они не только ощущали себя свободными, но еще чувствовали себя братьями (95, 613). Фигура председательствующего с наганом в руке больше не тяготела над ними. Вряд ли все было так ладно, как пишет Волин (остатки рабочей делегации, например, заняли глухую оборону, хотя существенно повлиять на решения собрания они не могли). Но съезд действительно наметил решения ряда принципиальных вопросов. Была санкционирована «добровольная мобилизация»^[15] в Повстанческую армию двадцати мужских возрастов (с 19 до 39 лет). Была, несмотря на сопротивление рабочей части съезда, одобрена идея «вольных советов». Почему сопротивлялись рабочие, понятно. Идея децентрализации, явно заложенная в фундамент «вольного советского строя», казалась губительной для сложившегося в бывшей империи механизма промышленности. Рабочие чувствовали это. В то же время понятно, почему «вольные советы» были так радостно восприняты крестьянами: для них центральная власть всегда ассоциировалась прежде всего с поборами. А большевистская власть довела эти поборы до максимума – по заявлению Цюрупы, нэповский продналог составлял 339 процентов довоенного прямого налога, а продналог был мягче мягкого по сравнению с продразверсткой 1919–1920 годов (40, 97).

Но, пожалуй, самые неожиданные события произошли на съезде в день его закрытия, 2 ноября. Несколько делегатов осмелились под конец поднять вопросы, не предусмотренные повесткой дня. Самым щепетильным был вопрос о махновской контрразведке, которая, по слухам, существует в армии и чинит расправы на манер Чека. Волин, конечно, прекрасно

знал про армейскую разведку Голика и корпусную разведку Задова. Но он боялся Махно и на съезде притворился несведущим. Делегаты решили создать комиссию для расследования деятельности контрразведки. Волин не возражал. Надеялся ли он приструнить военную верхушку при помощи народных избранников? Возможно. Между Реввоенсоветом и штабом Повстанческой армии всегда были трения, но попытки «гражданских» повлиять на штаб неизменно заканчивались провалом. Съезд, казалось, мог изменить расстановку сил. Один из делегатов высказал претензии в адрес армии и, в частности, заметил, что комендант Александровска т. Клейн (сменивший на этом посту Каретника), выпустивший воззвание против пьянства, на недавнем вечере отдыха сам надрался так, что его едва живого доставили домой на извозчике, чему был свидетелем весь город.

Зал выслушал историю с добродушной иронией, однако же потребовал Клейна на съезд. Клейн считался одним из лучших командиров Повстанческой армии. Как это ни странно, происходил он из семьи немецких колонистов, нелюбимых махновцами, но по бедности нелюбви избежал. Был он почти необразован, бесстрашен, многожды ранен и закален в боях и беспечно весел. Однако приглашение на съезд и необходимость держать ответ перед народом смутили его.

Праведный депутат начал без обиняков и спросил, верно ли, что Клейн собственноручно подписал указ против пьянства.

Клейн подтвердил.

– Скажите, товарищ Клейн: как гражданин нашего города и его военный комендант, считаете ли вы необходимым следовать вашим собственным распоряжениям или полагаете это необязательным?

Клейн понял, куда клонит дотошливый депутат, и, смутившись, приблизился к краю сцены:

– Товарищи делегаты, я неправ, я знаю. Я совершил ошибку, напившись третьего дня. Но поймите меня: я не знаю, почему меня назначили комендантом города. Я военный человек, я солдат... А я целый день сижу за столом и подписываю бумажки! Мне нужно действовать, мне нужен воздух, фронт, мои товарищи. Я скучаю здесь смертельно! Вот почему я напился позавчера вечером. Я готов исправить ошибку. Для этого вам нужно только попросить, чтобы меня отправили на фронт. Там я буду полезен. А здесь, на этом проклятом посту коменданта, я вам ничего не обещаю... Простите меня, товарищи, пусть меня отправят на фронт... (95, 619).

Описывая этот эпизод, Волин пытается теоретизировать: понимал ли Клейн, что съезд выше его? Понимал ли, несмотря на все свои раны и заслуги, свою ответственность перед народом?

Да ничего не понимал товарищ Клейн, кроме того, что комендантство ему постыло и нужен ему вольный воздух фронта! Здесь – трагедия всех фронтовиков послевоенных лет, и уж тем более – «бунтующего человека». Повстанческое движение возглавили люди, созданные для войны, люди боя, для которых возвращение к нормальной человеческой жизни было, наверное, невозможно. В свое время был широко распропагандирован факт, что один из

махновских командиров, Иван Лепетченко, сдавшись по амнистии, в годы нэпа мирно торговал мороженым (69, 60). Но, во-первых, это была ложь: Лепетченко, будучи телохранителем Махно, в 1921 году не сдался, а ушел вместе с батькой в Румынию, потом в Польшу, и обратился в консульство СССР с просьбой о возвращении на родину лишь в 1924 году, когда Махно удалось перебраться в Берлин, а сам верный батькин телохранитель остался на чужбине не у дел. Просьба Ивана Лепетченко была удовлетворена – о чем в своем месте будет рассказано, – но к тому времени, когда он надел лоток мороженщика, большинства его близких товарищей уже не было в живых. ГПУ, естественно, пыталось привлечь Лепетченко к сотрудничеству, но он никого не выдал и до конца жизни питал ненависть к большевикам, в каких бы мероприятиях ни выражалась их деятельность в деревне, причем неприятие свое выражал открыто, что и было ему вменено в вину перед расстрелом в 1937-м. Раскаивались идейные анархисты, возвращались к земле крестьяне-повстанцы, но из тех, кто возглавлял их, чьи молодые силы целиком сожгло пламя восстания, не смирился никто. Война, вознесшая их, их же и успокоила. Никто из них не дождал ни до победы, ни до поражения. Все они были убиты, как и подобает воинам.

Александровский съезд понял Клейна и принял решение отправить его на фронт. На этом заседании закончились. Захлопнулась одна из самых ярких страниц в истории махновщины. Никто не знал, что в эти дни движение переживает свой пик – казалось, оно только набирает силы. 28 октября повстанческие части ворвались в Екатеринослав, были выбиты, но в начале ноября к городу подошел Махно с основными силами и после двухдневного боя овладел им. В Екатеринославе Махно намеревался устроить столицу своей республички, хотя с той стороны Днепра город непрерывно обстреливали белые бронепоезда, и мирная жизнь в нем никак не налаживалась.

В Александровске тоже было неспокойно. Съезд не решил проблемы консолидации сил. Идея «вольного советского строя» не вдохновила большевиков. И хотя в Реввоенсовете, который фактически был временным коалиционным правительством на территории партизанской республики, были представители партии, нелегальная работа коммунистов не прекращалась.

Е. П. Орлов вспоминает: «Я уже говорил, что мы решили сохранить явку в гостинице „Париж“. И вот как-то однажды наша девушка, Клава, говорит: приходи туда сегодня вечером. То есть в „Париж“, на конспиративную явку. Случай чрезвычайный. Я пришел. Были коммунисты и я, комсомолец. Ждем кого-то. И вдруг входит Полонский: красавец, русский чуб, красная черкеска, белый башлык. От неожиданности я даже за пистолет схватился – ведь я же не знал еще, что он большевик, думал, махновец, начальник гарнизона. Меня ребята – хватать: „Потише Женя, потише...“ И вот он нам сделал двухчасовой доклад о Повстанческой армии, о положении на фронтах. Поставил задачу: внедряться в махновские части. Узнавать, чем они живут, какие настроения у них. В каких частях больше процент красноармейцев? Расчленять армейскую массу...»

Большевики, верные своим принципам, готовили военный заговор.

Меньшевики действовали обычным путем интриг: несколько делегатов, ушедших со съезда, выразили протест против «унижения рабочего класса». Была созвана конференция – явно в

пику махновскому съезду – и поддержала протест, заявив к тому же, что раз оскорбляют рабочий класс, решения съезда не будут иметь для рабочих никакого авторитета. Представители 18 крупных заводов поставили свои подписи. Махно встревожился, отписал рабочим страстное открытое письмо в газету, в котором с присущей прямоотой вопрошал: «Правда ли, что вы, заслушав на экстренной конференции меньшевиков и эсеров бежавших, как гнусные воры и трусы, от справедливости произнесенного мною перед делегатами съезда, постановили протестовать против справедливости? Правда ли, что эти ублюдки буржуазии вами уполномочены?..» (40, 106).

Махно был явно обижен. Ему, как военному человеку, не хватало выдержки для ведения нудных политических споров. Он хотел, чтобы идея «вольных советов» была воплощена в жизнь. Он думал, все поддержат ее, все возрадуются... Еще бы чуть-чуть – и горькое разочарование благодетеля человечества, столкнувшегося с неблагодарностью подданных, коснулось бы души его. Но не успел он разочароваться.

Обстановка накалялась с каждым днем. У Александровска стали появляться белые разъезды. Оттянув все силы на Екатеринослав, махновцы не могли защитить Александровск. Решено было уходить на правый берег, отгородиться от белых Днепром. Полонский как-то пришел в «Париж» – там было только бюро городской парторганизации, – сказал, что Махно назначил его начальником никопольского боевого участка, и его «железный полк» вместе с приданной частью корпуса Удовиченко уходит на правый берег. Будет держать оборону там.

Е. П. Орлов: «Мы тоже решили уходить с махновцами. Я и Семен Новицкий пошли к Волину: нам нужны были подводы, потому что у нас две девушки, Вера Шапошникова и Аня-махновка (она у махновцев медсестрой работала), заболели тифом. Нам дали пару телег. Часть наших должна была идти в Екатеринослав, часть – в Никополь, к Полонскому. Через несколько дней мы тронулись. Человек 15–20 нас было, вооруженных очень мало – пешком через Кичкасский мост...

Вечером пришли в немецкую колонию Николайполе. Ни одного колониста не было там, все ушли. Сметана на столах стояла, а люди ушли. Боялись. Мы переночевали там. После Николайполя разделились. Несколько человек должно было к Полонскому в Никополь идти: Гришута, Кац, товарищ Борис (он был то Борис, то товарищ Теодор), жена Шоя Андриенко и я...

Ноябрь. Чернозем. Дождь. Грязь – колесам по ступицу. Холод. По дороге и без дорог, прямо по стерне, двигались толпы людей. Уходили от белых. Вечером следующего дня снова дошли до какого-то хутора, остались ночевать. Ночью ворвался какой-то отряд. Кто – неясно. Рубят всех подряд... Мы в лес побежали, нашли друг друга только на рассвете...

Наконец, дошли до Нижней Хортицы, где стоял корпус Удовиченко. Народу было везде набито – что-то неопишное... Болеют все, тифозные... Документа у меня никакого не было, одет подозрительно: курточка, переделанная из гимназической шинели, фуражка-керенка. И тут я узнаю, что здесь находится штаб Зинченко, начальника снабжения махновской армии. Пошел к нему. „Вы, – говорю, – меня помните?“ – „А кто ты такой, что я помнить должен?“ – „Так и так, – говорю, – был у вас от союза молодежи по борьбе с

контрреволюцией. Вы нам клуб дали“ . – „А, да-да-да, – говорит. – А ну там, пошуйте, где та книга, где я кодысь написал...“ И что вы думаете? Нашли в архиве махновской армии мое письмо с просьбой дать нам клуб. И мне дали удостоверение, что я действительно такой-то.

Ну, вышел с удостоверением. Однако кушать же надо? Там немецкие колонисты – господи! – ни слова, кормят всех. Но я не могу же сразу: „Есть давай!“ Хожу не евши. Какой-то боец подходит ко мне, разговорился. Я ему объяснил. „Давай, – говорит, – идем до батька Удовиченка“. Крупный был командир махновский, любили его. Здоровенный мужик, силач. Выслушал меня, говорит: „Хай вин иде вон в ту хату, скажет, чтобы зачислили его...“

Захожу. В парадной половине лежит на полу огромная корова ободранная. В хате почему-то. Один ее режет. Во дворе котлы, мясо варят. Над огнем одежда висит, прокаливается. Вшивые все были страшно. Никаких же санитарных, банно-прачечных отрядов не было у махновцев. В то время парикмахеры за хорошие деньги стригли машинкой. Так из-за вшей, извиняюсь, вся машинка бывала в крови...

Раз мимо парикмахерской как раз иду. Гляжу, стоит Чурилин. Наш подпольщик, коммунист. „Женя, ты куда?“ – „Да мне, – говорю, – в Никополь надо“. А Никополь сто километров оттуда. Переночевал у него, он мне продуктов немножко дал в дорогу. Пошел пешком. Ночевал, где придется. Однажды на хутор зашел – а там махновцы и, как назло, пьяные все. „Э, э, э! – говорят. – Арестован. Утром будем разбираться с тобой“. Утром хозяин говорит: „Ступай с богом, они пьяные были, не вспомнят ничего“. Я дальше пошел, по шпалам. Потом поезд какой-то... Так я в Никополь и попал... Полонского сразу нашел: городок маленький, начальника боевого участка всякий знает. И вот познакомился там с его женой Татьяной и с сыном ее, Юрочкой. Шесть лет ему было...

И наших там же нашел: Гришуту, Бориса. Гришута – его настоящая фамилия Конивец была, он в истории фигурирует,[16] – мне сказал: никакой самостоятельности. Изучать настроение в армии, но аккуратно. Потому что Полонский ему сказал, что махновская армия в том виде, в котором она существует, будет разгромлена, конечно. Надо до разгрома выяснить, какие части можно сагитировать в Красную армию. Надо сказать, что Полонского самого дома почти не бывало: никопольский боевой участок очень обширный был – от Никополя до Хортицы, до самого Днепростроя сейчас. Полонский – он уже не в своей знаменитой красной черкеске ходил, а в кожаной тужурке, – постоянно объезжал фронт. То на тачанке, то верхом. Татьяна жаловалась – что ей трудно жить. Что он... грубоват с ней, что ли. Ведь в Повстанческой армии командир полка – это колоссальная должность была, колоссальная власть у человека. В Красной Армии еще комиссар был, партийная организация – командир под контролем. А здесь батька – царь и бог. Хочешь самогон – пожалуйста, пей. Женщин хочешь – пожалуйста. Я не хочу сказать, что Полонский злоупотреблял в этом отношении. Просто такое всевластие, оно невольно воспитывало крутость в человеке. И ей это было тяжело. Она необычайной красоты была женщина, высокая брюнетка, чем-то похожая на Веру Холодную. Муж у нее был белый офицер, и, когда Полонский со своим полком брал Крым летом 1919-го, он нашел ее. И вот... Мне показалось... Конечно, это только мое субъективное впечатление... Мне показалось, что между нею и Борисом какие-то особые отношения начинают складываться. Он потоньше, студент, красавец. Ходил в студенческой фуражке. Что-то такое было в нем, чего ей, может, так не хватало...

